

многому из того, что теперь свершается, но это не освобождает его от прямой ответственности — разве не говорил он с подъемом про «сентябрьские дни в продолжении годов»?! А тот протест против «западного мещанства», в котором пафос века сего доходит до апогея, — разве не готовился он поколениями русской интеллигенции, всевозможными струями русской мысли? Разве революция, как в господствующем аккорде, не сливается в нем с реакцией?..

Это благодарнейшая задача уже не так далекого будущего — вскрыть национальные истоки великого кризиса наших дней, его светлого и темного ликов. И не только благодарнейшая, но и насущнейшая. Интеллигенция наша часто не хочет ныне узнавать себя в революции. Это не только великая ошибка, но и великий грех: чтобы действительно исправиться, чтобы реально совершенствоваться, нужно прежде всего познать себя.

1925

Революционер-демократ

1

«— У тебя страшно много ума, так много, что я и не знаю, зачем его столько одному человеку...»¹ Читая Герцена, всякий раз невольно вспоминаешь эти обращенные к нему слова Белинского. Нельзя, кажется, более точно и метко выразить впечатление от всего духовного облика, от всей индивидуальности Герцена, от каждой страницы его писаний. Да, дыхание, цветение, прометеевская поэзия ума — вот чем пронизаны эти страницы. Да, аромат ума — вот что прежде всего ощущается и пленяет в их авторе. «Герцен все понимал» (Шелгунов)². Ум широкий и вместе с тем конкретный. Бесстрашный, «беспощадный, как Конвент», — и вместе с тем живой, взволнованный, «осердеченный»³ (по определению того же Белинского). Глубокий — и вместе с тем на редкость блестящий, сверкающий, вопреки известному афоризму Ницше «все, что золото, не блестит»⁴. Иронический — и одновременно романтический. Владеющий одинаково и лиризмом, и сарказмом, и парадоксом. Среди мировых писателей подобного же склада ум был у Гейне⁵.

Читаешь — и переживаешь какой-то стремительный интеллектуальный и эстетический штурм, от которого подчас захватывает дыхание. Какой-то вдохновенный вихрь мыслей, претворяемых в образы, и образов, раскрывающих мысли. Читаешь — и словно погружаешься в студеной кипяток: язык горячей крови и холодной головы.

Герцен был мыслителем, общественным деятелем, философом истории, художником-беллетристом, мемуаристом и т. д. Но прежде всего и главным образом он, разумеется, публицист. Публицистика — его стихия, его страсть и слава, его подлинное и коренное призвание. Он публицист везде: и в философских очерках, и в письмах туриста, и в мемуарах. Ему суждено было стать первым русским политическим публицистом большого стиля.

Публицистика — сложное и нелегкое ремесло: в нем наука переплетается с искусством. Публицистика широкого полета требует и зоркого ума, и литературного вкуса, и работы над формой, и немалых знаний, — исторических, экономических, философских, — и живого непрерывного интереса к злобам текущих дней. Публицист обязан неотступно следить, можно сказать, и за часовой, и за минутной, и за секундной стрелками истории. Вместе с тем надлежит ему крепко знать свою аудиторию, своего читателя, свою среду.

Этими данными публициста Герцен обладал в высокой мере: всепостигающий ум, несравненная литературная одаренность, энциклопедическая образованность, темперамент борца, политический интерес и политическая память, — все эти качества сочетались в нем богато и прекрасно. Разве лишь последнее требование — живая связь со средой, на которую опираешься, — было для него труднее выполнимо, чем недостижимей возвышались его взгляды над уровнем социально близкого ему круга людей, и чем дольше длилась его разлука с родиной. Печатью Герцена, горячей и жгучей, отмечены три десятилетия нашей общественной мысли, из коих одно — годы лондонской типографии — называли даже периодом его «литературной диктатуры». Своей «школы», обособленной и завершенной, он, правда, не создал. Для школы, доктрины, для партии он был слишком индивидуален, утончен, адогматичен, даже противоречив. Он

называл Прудона «автономным мыслителем революции». Эта кличка очень подходит к нему самому. «Я не учитель, я попутчик», — говорил он про себя. Он оплодотворил своими идеями различные течения русской прогрессивной мысли, но целиком не уместился ни в одном из них. Вместе с тем, «скептическое посасывание под ложечкой» лишало его той волевой одержимости, которая бывает характерна для больших исторических деятелей в решающие исторические моменты. Постоянно тосковал он по «практическому действию», но единственной доступной ему формой дела оказывалось слово, и притом слово больше обличения, чем системы и программы. На то были причины не только объективные, но и субъективные, в свою очередь, конечно, связанные с его эпохой и его средой. Историческая репрезентативность его огромной фигуры бесспорна.

Его уподобляли Фаусту. Действительно, фаустовское начало жило в его натуре, деятельной и беспоконной. Но позволительно прибавить, что это был Фауст, еще более, чем у Гёте, не преодолевший в себе Мефистофеля. Его аналитическая мысль, строптивая и настойчивая, направлялась на все и на вся, подтачивая и разъедающая подчас и собственные свои основы. «Медузины взгляды скептицизма» скользили за ним по пятам. Эту сторону его духовного облика выразительно подчеркнул после смерти его Достоевский: «*Рефлексия*, способность сделать из самого глубокого своего чувства объект, поставить его перед собой, поклониться ему и сейчас же, пожалуй, и посмеяться над ним, была в нем развита в высокой степени»⁶.

Чтобы ближе понять Герцена, нужно вспомнить его эпоху, исторические корни его общественного бытия.

2

Герцен — человек сороковых годов, но с терпкой гражданской закваской людей двадцатых и в исторической обстановке, по преимуществу, пятидесятых и шестидесятых. Его колыбелью было дворянское помещичье гнездо с легким запахом барского вольтерьянства и едкими впечатлениями крепостных «передней» и девичьей, где его прозвали «доброй ветвью испорченного дерева». Маем жизни его выдался

декабрь 1825 года. Дух воли и будущего бродил тогда по России: «казнь Пестеля и его товарищей окончательно разбудила сон души моей». Свобода, революция, Шиллер, Плутарх, «Думы» Рылеева, «полубог Пушкин», — такова гвардия его отрочества и ранней юности, таковы его «первые мечты, пестрые, как райские птицы, и чистые, как детский лепет». Заря пленительного счастья, ватага Карла Моора и богемские леса романтизма, дерзанье ошибаться и мечтать. Заповедь — себе: «будь горяч или холоден». Дружба с Огаревым до смерти, восторженная клятва на Воробьевых горах: пожертвовать жизнь на дело свободы. Героические дети. Незабываемые минуты. Неистребимый жизненный фундамент. Дальше — школа французского просвещения и немецкого идеализма. Тридцатые годы. Удушье николаевской реакции, моровая полоса, эра казарм и канцелярий — и общий горький удел:

...изнывать кипящею душой
Под тяжким игом самовластья⁷.

Арест. Годы ссылки, годы дум одинокого роста, кружения сердца и жизненных опытов. Пермь, Вятка, Владимир, Новгород. Затем — Москва сороковых годов. Раздражение пленной мысли, ночные споры в салонах и кружках, Белинский, славянофилы, Грановский, Чаадаев. Лучи с запада, зори революций, диалектика Гегеля, гуманизм Фейербаха, романтический социализм утопистов. Ум зреет, талант крепнет, и жарко распалается жажда «обнаружиться». Тянет на дело, на борьбу, а на губах — замок...

Пограничный столб, и на нем — одноглавый худой орел с растопыренными крыльями. Россия позади. Впереди независимая речь, человеческое достоинство. «Утешение — в будущем... Жизнь раскидывалась перед нами лучезарно... Мы верили во все». Герцен в Европе. Канун [18]48 года. Вера в демократию, в близкую революцию подсказывала мысль. «Колокол» звенел в России прекрасной музыкой освобождения.

Моцартом русской публицистики заслушивались повсюду. Но времена меняются и музыка вместе с ними. Веяния контрреформы — Герцен их обличает, тон статей его становится суше, жестче, непримиримее. «Либералы» тянут его дальше вправо — в нем оживают радикал и демократ.

Польское восстание, Герцен на стороне свободной Польши, либералы в объятиях реакции, революционно-демократическая молодая интеллигенция идет уже своей дорогой, имеет своих вождей. Влияние на ущерб, близится одиночество, покинутость. Трагедия изгнания и трагедия сознания. Конец «Колокола», конец очередного этапа борьбы, начало конца и всей этой замечательной человеческой жизни, одной из самых ярких в истории нашей интеллигенции.

Последние годы. Опять искания, опять раздумья. Усилия разгадать закономерную поступь истории, понять «шаг людской в былом и настоящем, чтобы знать, как идти с ними в ногу». Защита эволюционизма, мирного развития... и настороженное прислушивание: «Вокруг буря, все растущая буря — вот это утешает... мы еще кое-что снова увидим!» До «кое-чего» — до Коммуны — он не дожил года.

Он умер с ясным знанием, что «теперь, наконец, я — прошедшее», с обломками многих надежд и чувств в груди, но с прежней, всегдашней, упрямой верой в свободу, родину, человеческое достоинство.

Писатель великой тревоги и великой любви. Став прошедшим, он остается вечным настоящим в живом пантеоне свободы и культуры. Его могила цветет имморталями.

Уходя, он знал, что его сменяют «молодые штурманы будущей бури», способные учиться на его опыте, на его победах и на его ошибках. В наши дни, когда эта желанная буря пришла и смела на родине вековые бастионы рабства и всяческого угнетения, которое он так умел ненавидеть, его большое слово о человеке, о вольной мысли и вольной речи, о достоинстве личности звучит с новой силой, в новом и высшем плане. Звучит уже не как укор, протест и обличение, а как напоминание, как заповедь, как призыв. Призыв к обществу — ценить и воспитывать личность, заботиться о человеке, и призыв к личности — искать и найти себя. В этом смысле Герцен не только наше прошлое. В этом смысле он всегда с нами.

